

Консерваторы и «инфраструктура» коллективной памяти: проблемы репертуара политически пригодного прошлого

Коллеги, хотела бы поделиться с вами некоторыми соображениями, которые возникли у меня как заметки на полях того исследования, которым я занималась последние три года. Сейчас работаю над книгой, в которой попытаюсь эти результаты описать.

На первом Форуме «Бердяевские чтения» многие выступающие, включая и меня, в качестве одной из проблем, с которой сталкивается развитие консерватизма в современной России, отмечали прерывность отечественной истории, которая препятствует конструированию традиций. Как справедливо, на мой взгляд, высказался Леонид Владимирович Поляков, в каком-то смысле именно эта прерывность и есть наша традиция. Вот только что с такой традицией делать консерваторам? Как мы все хорошо помним, об этой прерывности писал и Николай Александрович Бердяев. Он выделял Россию киевскую, татарского периода, московскую, петровскую императорскую, наконец, новую советскую [1, с. 7]. Сейчас мы можем добавить еще и постсоветскую.

Попытаюсь рассуждать о том, что прошлое – это ресурс для современной политики и как с этим ресурсом можно работать. Буду подходить к проблеме прошлого не с точки зрения историографии. На мой взгляд, прошлое – это проблема не только историографии, но и политики, символической политики. Я образую это понятие, отталкиваясь от концепции символической борьбы Бурдьё, то есть под символической политикой понимаю деятельность разных политических акторов, направленную на производство и продвижение определенных способов интерпретации социальной реальности.

С моей точки зрения, прошлое – очень важный ресурс и инструмент для символической политики. Современная политика устроена таким образом, что политики не могут не апеллировать к прошлому. Это связано со способами мышления современности. Например, генеалогия лежит в основе логических обоснований социального мира в эпоху Модерна. И политическое использование прошлого является атрибутом современной политики. Используя этот ресурс, политики, в частности политики, которые находятся у власти, таким образом участвуют в символической борьбе за интерпретацию прошлого. При этом они оперируют наличным репертуаром исторических событий и фигур, которые известны широкой аудитории и способны вызывать ожидаемую реакцию. Другими словами, чтобы быть политически пригодными, события, фигуры, символы прошлого должны быть закреплены, причем желательно по разным каналам – не только в

Малинова Ольга Юрьевна, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН, профессор кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГИМО, профессор департамента политической науки факультета социальных наук НИУ «Высшая школа экономики». E-mail: omalinova@mail.ru

параграфах школьных учебников, но и в художественной литературе, кинематографе, документальных фильмах, музеях, памятниках, топографии публичного пространства, национальных праздниках и ритуалах и, наконец, в личном опыте индивидов (если это недавнее прошлое), передаваемом через живое общение. То есть коллективная память функционирует по разным каналам, и для того чтобы быть пригодным, важно, чтобы прошлое было узнаваемым.

Но политики, использующие прошлое, зависят от наличного репертуара того прошлого, которое, собственно говоря, уже актуализировано. При этом они имеют возможности влиять на изменение этого репертуара. Это относится к любым политикам, но в первую очередь – к властвующей элите, которая имеет возможность трансформировать репертуар политически пригодного прошлого не только за счет его риторической реинтерпретации, но и за счет того, что может принимать важные решения, направленные на изменение того, что я бы назвала «инфраструктурой» коллективной памяти: начиная от школьных программ и учебников, продолжая праздничным календарем, государственной символикой, наградами, ритуалами и прочими вещами.

Властвующая элита располагает значительными ресурсами не только для номинации событий прошлого в целях политического использования. Например, устанавливая национальный праздник, она фактически номинирует событие, для того чтобы ежегодно его можно было интерпретировать и политически использовать, продолжая возможностью трансляции определенных версий коллективной памяти путем регулирования школьных программ, государственных инвестиций в культуру и т.д.

Область символической политики – коварная область. Совсем необязательно действия на этом поле приносят актору тот результат, на который он рассчитывает, потому что результат здесь складывается из взаимодействий разных акторов. И как раз символические действия власти оказываются легкой мишенью для критики оппонентов. Опыт многих стран свидетельствует, что шаги на этом поприще наделенных властью людей часто становятся предметом публичных дебатов, в том числе и потому, что, как верно подметил Дэвид Арт, не требуется особой подготовки, чтобы сформировать собственное мнение по этим проблемам: это такая простая часть повестки, по которой сравнительно легко высказываться [2, с. 3]. И в этом смысле получается, что для властвующей элиты прошлое оказывается, с одной стороны, важным ресурсом, без которого нельзя работать, но в то же время и объектом символических инвестиций; и работа с этим объектом может приносить как преимущество, так и определенные риски, потому что неудачные решения порождают соответствующие последствия.

В России политикам нелегко с прошлым. Хотя тысячелетняя история России – богатый ресурс, он труден для политических антрепренеров, потому что прошлый век оставил действительно нелегкое наследие. Многие события, память о которых настойчиво культивировалась в советский период, подверглись переоценке, но, с другой стороны, многое из того, что служило опорой идентичности до революции, в свою очередь было перелопачено в советский период, репрессировано, предано забвению. Другими словами, не только нарратив – то есть смысловая схема, по которой мы рассказываем о коллективном прошлом, – но и «инфраструктура» коллективной памяти, доставшаяся в наследие от СССР, нуждалась и нуждается в существенной реорганизации. Как я попытаюсь показать, к сожалению, вплоть до самого недавнего времени властвующие элиты не занимались систематически этой задачей, то есть она периодически попадала в поле внимания, но решения принимались в достаточной степени по контексту, и контекст диктовался в большей степени политической целесообразностью, связанной с текущей политической борьбой или текущими задачами, нежели



долгосрочной задачей выстраивания репертуара политически пригодного прошлого и перестройки «инфраструктуры» коллективной памяти.

Всякое ли прошлое, всякие ли события, фигуры прошлого годятся для политического использования? Нет, не всякие. Для целей, с которыми прошлое используют политики, годятся не всякие события и фигуры. По своим наблюдениям на основе разного материала я вывела три таких критерия прошлого, которое оказывается пригодным в контексте конструирования макрополитической идентичности, то есть идентичности, стоящей за государством.

Во-первых, для политического использования в этом контексте годятся образы, символы, мифы, события, фигуры прошлого, которые узнаваемы, закреплены через разные каналы в массовом сознании, усваиваются через разные каналы социализации и при этом поддаются реинтерпретации и могут быть адаптированы к решению задач символической политики. И то и другое важно, потому что, например, в наследие от советской политики памяти нам достались некоторые хорошо институционализированные, закреплённые в «инфраструктуре» памяти события, например, Октябрьская революция, которые достаточно сложно реинтерпретировать. С адаптацией этого узнаваемого события мы до сих пор испытываем большие сложности.

Второй критерий: годятся события, которые позволяют конструировать положительно окрашенный образ нации. Что значит «положительно окрашенный образ нации»? Образ, который соответствует неким закрепившимся культурным фреймам, культурным смысловым рамкам, которые работают в тех или иных контекстах. При этом сами рамки меняются. Например, XX век был свидетелем того, как рамка жертвы оказалась пригодной и весьма удобной для конструирования идентичности: многие сообщества работают с фреймом жертвы достаточно активно. Это произошло в процессе реинтерпретации памяти о Холокосте, возник модельный случай, который используется в политике памяти очень широко и по-разному. Но в основном речь идет, конечно, о таких тропах или фреймах, как тропы национальной славы, Великой Победы, вкладов в сокровищницу мировой культуры, жертвах страданий и т.д.

В-третьих, для конструирования макрополитической идентичности удобнее то прошлое, которое не является объектом полярно противоположных оценок. Разные интерпретации есть всегда, но важно, чтобы они не выстраивались по принципу игры с нулевой суммой. Такое прошлое, которое интерпретируется по принципу противоположностей, хорошо для сведения политических счетов, для борьбы с оппонентами, но оно вызывает политтехнологические сложности для использования в целях национальной консолидации.

Если с этой точки зрения посмотреть на постсоветскую историю символической политики, которую проводили властвующие элиты, то получается следующее. Если мы посмотрим на риторику всех наших президентов, то отличительной особенностью практики использования в ней прошлого является преобладание такого приема, как легитимация текущего политического курса по контрасту с политикой предшественников. Соответственно, Ельцин это делал по контрасту с советским периодом и прежде всего с «перестройкой». Путин это делал по контрасту с Ельциным. И даже Медведев это делал по контрасту с Путиным. В результате получается, что наиболее актуальным в такой риторике, в силу этой тенденции, является актуализация недавнего прошлого. Мы можем выделить достаточно ясные этапы в этом процессе. Это прежде всего 1990-е годы. Правда, я в 1990-х выделила бы два подэтапа, потому что до 1995 года была одна политика памяти; празднование 50-летия Победы повлекло за собой некоторые изменения. Но, так или иначе, в 1990-х годах политика памяти была подчинена потребности оправдания реформ, оправдания их необходимостью радикальной трансформации советского тоталитарного порядка.

Если посмотреть на то, какой новый официальный нарратив конструировался в этот период, если посмотреть выступления Ельцина, людей, которые были в правительстве реформ, то совершенно отчетливо видно, что это была концепция новой России, которая противопоставлялась России старой – старой советской, но одновременно и старой дореволюционной. Отношение к дореволюционному периоду в риторике власти ельцинского периода было двойственным. С одной стороны, конечно, провозглашалась идея восстановления связи времен: дескать, вот после того, как советская официальная идеология оказалась отринута, вот здесь у нас есть возможность возродить забытое прошлое. Но в то же время властвующая элита ельцинского периода восприняла – я думаю, что и не могла не воспринять, – ту схему изложения отечественной истории, которая существовала в советский период, другой на тот момент просто не было. А эта схема, если вы помните, была подчинена истории революционно-освободительного движения. И история эта рассказывалась таким образом, что вот шел долгий процесс революционно-освободительного движения, кульминацией которого явилась Октябрьская революция, и всё, что в этом освободительном движении делалось до Октябрьской революции, делалось реформистским путем, было несовершенно, половинчато. Но пришла Октябрьская революция – и решила все проблемы. Отношение к дореволюционному прошлому в ельцинский период в значительной степени опиралось на эти представления, и получалась такая схема: была история России, которая трудным путем шла к свободе и демократии, это по разным причинам не получалось; была катастрофа Октябрьской революции, которая всё опрокинула; и вот теперь, наконец-то, новая Россия фактически берется за осуществление тех задач, которые не удалось решить России старой. В ельцинских выступлениях были разные версии. Было выступление перед Конституционным совещанием, когда он призывал собранное им Конституционное совещание разработать второй, альтернативный вариант Конституции. Он объяснял эту необходимость тем, что, дескать, вот сейчас мы возвращаемся к решению тех задач, которые не удалось решить в Феврале, то есть он представлял 1993 год как возвращение к той точке, которая не состоялась в феврале 1917 года. Потом были другие выступления, в которых он говорил о том, что Февралю не удалось справиться с задачей. Но, так или иначе, была идея прерывности.

К сожалению, эта символическая политика была не особенно последовательной, потому что если вы строите нарратив новой России – делайте что-нибудь, чтобы создавать инфраструктуру коллективной памяти, которая коммеморировала, создавала бы условия для коммеморации этой новой России. Создавайте какие-то праздники, создавайте какие-то поводы, которые заставляли бы вас год за годом возвращаться к этой накапливающейся истории новой России. С этой точки зрения было сделано удивительно мало, видимо, было не до того.

В нулевые годы, с приходом президента Путина, символическая политика поменялась. Она менялась не радикально – постепенно, шаг за шагом. Примерно к 2003 году, как мне представляется, выкристаллизовалась новая модель, новая смысловая схема истории, которая опиралась не на идею новой России, а на идею тысячелетней России, тысячелетней истории, в основу которой была положена идея государственности, идея становления великой державы. Естественно, этот процесс сопровождался избирательной реабилитацией советского прошлого. К сожалению, этот процесс не сопровождался серьезной работой над самим тысячелетним прошлым, до недавнего времени не предпринималось усилий к тому, чтобы насытить фигуру тысячелетней истории конкретным содержанием.

Еще одной характерной особенностью использования прошлого, было то, что власть всячески стремилась уклоняться от занятия позиции в спорах о про-

шлом; в дискуссии, которые шли в обществе, власть предпочитала вмешиваться минимально. Вообще, главной проблемой этой политики был недостаток системности – ни то, что делалось в начале 1990-х, не проводилось достаточно последовательно, ни то, что делалось в нулевых. В нулевых был принцип тотальной преемственности, когда использовали позитивные символы прошлого из разных эпох, даже не пытаясь их связать каким-то внятным смысловым сюжетом. Просто у нас есть наша Россия; всё что есть хорошего в прошлом России мы используем.

Хочу подкрепить свои выводы несколькими результатами анализа. Я работала с выступлениями президентов, текстами двух жанров. Первый – Послание Президента Федеральному Собранию. Я брала тексты, выделяла фрагменты, в которых речь шла о прошлом и смотрела на то, как в контексте легитимации текущего политического курса президент и люди, которые пишут для него эти тексты, использовали коллективное прошлое. В частности, я кодировала это по принципу, какое прошлое использовалось. Если взять весь массив упоминаний о прошлом, то в нем 4% составляют упоминания о конкретных событиях, имевших место до 1917 года. Тысячелетняя история: 26% – советский период; 23% – постсоветский период; 30% – общее упоминание об истории (наше тысячелетнее прошлое); 17% – это ход, который с определенного момента (если мне память не изменяет, с 1997 года) президентские спичрайтеры нашли, когда в послания вставляются упоминания о каких-то фигурах исторических деятелей, какие-то цитаты из отечественных мыслителей (часто одни и те же). Например, Солженицына цитировали и Ельцин, и Путин – одну и ту же цитату. Этот удачно найденный ход теперь воспроизводится в каждом Послании. Другими словами, в контексте легитимации политического курса используется, как правило, советское прошлое и недавнее прошлое.

Второй жанр текстов, с которыми я работала, – так называемые мемориальные речи. Это речи, которые произносятся по какому-то поводу, связанному с историческим событием. В этот массив попадают, с одной стороны, речи, связанные с праздниками, потому что большинство государственных праздников являются коммеморацией каких-то конкретных исторических событий. А также выступления, посвященные каким-то памятным дням, при открытии каких-то памятников и т.д. Тут я уже не имела возможности работать с периодом 1990-х годов. Практика публичной репрезентации выступлений президентов в 1990-х и нулевых годах менялась сильно. В нулевых годах был создан портал, на котором все собрано. А речи Ельцина, особенно начала 1990-х, даже в газетах не публиковались: они пытались порвать с практикой советской пропаганды, поэтому тексты речей Ельцина оказываются доступны для анализа достаточно фрагментарно.

В мемориальных речах тоже с большим перевесом лидирует советское прошлое – 33–35%. И в этом советском прошлом наиболее используемым событием является Великая Отечественная война – внутри упомянутых 33–35% речей таких упоминаний больше половины. При этом мы видим тенденцию сокращения доли постсоветского прошлого в символическом репертуаре главы государства. Если в свой первый президентский срок Путин достаточно активно работал с постсоветским прошлым, то затем он начинает говорить о нем существенно меньше. Это обусловлено в том числе тем, что он избавляется от некоторых праздников, связанных с постсоветской историей: День Конституции, например, перестает быть праздником, перестает быть поводом для выступления. В какие-то годы Путин не выступал в День России, 12 июня. В отношении дореволюционного прошлого также имеются перемены – доля событий дореволюционных событий в мемориальных речах, конечно, больше, чем в посланиях.

Разумеется, может возникнуть вопрос, почему мы так много говорим о проблематичном XX веке, если нам надо сконструировать макрополитическую идентичность сообщества, которое, по нашим словам, имеет тысячелетнюю

историю, а история XX века – спорная. Казалось бы, используйте то, что подальше лежит, и не будет таких споров, всё будет хорошо. Но нет, именно XX век и советский период являются наиболее используемым прошлым. На мой взгляд, тому есть по крайней мере два объяснения. Первое связано с тем, что нам досталось в наследие определенная «инфраструктура» коллективной памяти – советская «инфраструктура». Она не может быть демонтирована в одночасье, она продолжает функционировать (хороший пример – праздник 7 ноября и вся история, связанная с демонтажом этого повода для коммеморации). С другой стороны, вместе с прежними схемами репрезентации прошлого, которые были отвергнуты в результате краха советского проекта, оказались поставлены под сомнение связанные с этим проектом позитивные аспекты коллективной идентичности. Есть потребность в компенсации. И формы этой компенсации опять-таки разные. Но это то, что побуждает снова и снова обращаться именно к событиям XX века.

Если говорить о тысячелетнем прошлом, то здесь есть проблема узнаваемых символов. Запас, который в этом смысле был накоплен в советский период, достаточно скудный. У нас не так много праздников, памятников, символов, которые были бы закреплены и включены в практики систематической коммеморации. Они фактически штучные. Чтобы эффективнее использовать этот ресурс, надо целенаправленно заниматься изобретением традиций. Нельзя сказать, что ничего не предпринималось. Но вплоть до нынешнего президентского срока Путина делалось это не систематически. Посмотрим мемориальные речи, посмотрим на то, что служило поводом для коммеморации. В 2004 году появился День народного единства. Это единственное инфраструктурное решение, направленное на ежегодную коммеморацию. Еще поводом для мемориальных речей президента, связанных с тысячелетним прошлым, были юбилейные даты субъектов Федерации: в нулевых годах у нас был целый ряд юбилеев начиная с Казани, и даже 865-летие Москвы отмечалось с помпой и с речью президента. Поводы, связанные с историей отечественной культуры, государственных и военных институтов и даже военных побед, несмотря на их несомненно богатый символический потенциал, использовались лишь эпизодически, нередко в рамках зарубежных поездок президента. Но зато и Путин, и Медведев регулярно участвовали в юбилейных мероприятиях силовых структур, государственных корпораций и Русской православной церкви. 2012 год был объявлен Годом истории, и были предприняты некоторые шаги к номинации к использованию тех событий, которые редко служили поводом для коммеморации. Но как раз произошла смена президента, и то, что Медведев, по-видимому, номинировал под себя (я имею в виду 1150-летие российской государственности), в результате праздновалось без участия политиков федерального уровня.

Основным ресурсом для легитимации остается советское наследие, прежде всего память о Великой Отечественной войне (33% памятных речей). Великая Отечественная война используется как ресурс многоцелевого назначения: в какие только фреймы не оформляется память о ней. Второй по частоте использования повод – история ныне действующих государственных, прежде всего силовых, структур. Основная тема понятна: укрепление государства, построенного из узлов советской сборки. На удивление мало внимания в мемориальной риторике уделяется достижениям советской науки и культуры, освоению космоса, истории экономических успехов. Это просто лакуна. С космосом – понятно: не совсем удобно говорить об этом, когда сейчас с космосом не все в порядке. Но это очень хороший символический ресурс. Люди, которые участвовали в создании этого потенциала, еще живы, они активны, они избиратели. Просто удивительно, почему это прошлое мало используется.

Наши политики не любят касаться трудного прошлого. Выступления по поводу трудных страниц можно перечислить на пальцах одной руки. В 2004 году Путин выступал на собрании, посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов (одна из забываемых страниц недавнего прошлого). Мы все помним выступление Медведева в видеоблоге, выложенное в 2009 году в День памяти жертв политических репрессий. Мы помним государственную оценку фигуры Сталина в интервью Медведева «Известиям» в 2010 году. И в 2007 году, когда отмечалось 70-летие начала массовых расстрелов, Путин сделал символический жест: в День памяти жертв политических репрессий он вместе с патриархом Алексием II посетил бывший полигон НКВД в Бутово. Но он не выступил там с речью. Символический жест заключался в том, что он пришел и как человек почтил память других погибших людей. Никакой оценки государственной политики при этом не давалось.

На мой взгляд, итогом символической политики является отсутствие целостной стратегии, а зачастую – элементарной последовательности в решениях властвующей элиты. Результат: достаточно скудный репертуар символов, событий и фигур прошлого, пригодных для мобилизации национальной солидарности. Напротив, достаточно обширный репертуар того, что можно использовать в контексте политической борьбы, которая сегодня поставлена в достаточно жесткие рамки.

Мне представляется, что необходимо работать над обеими проблемами, параллельно. Рано или поздно придется начать работать с проблемой трудного прошлого, на это указывает и опыт других стран. Если мы посмотрим технологии работы с ним, то первая технология, которая используется, это технология забвения. То есть политики стараются не говорить об этом так долго, как только можно. Но рано или поздно становится невозможно об этом не говорить. Мне кажется, в интересах властвующей элиты самой инициировать момент, когда к этой дискуссии можно будет возвращаться. Предотвратить же это невозможно.

Нужно работать и над расширением репертуара политически пригодного прошлого, причем систематически, а не в режиме пиар-кампаний. Следовало бы отнестись к задаче расширения репертуара и вообще трансформации «инфраструктуры» коллективной памяти как к созданию некоего общего блага, в котором заинтересованы политики разных направлений – хотела бы этот момент подчеркнуть. Это то, в чем заинтересованы все – консерваторы, либералы, социалисты – все. Но у консерваторов, в силу их особого темперамента и особого отношения к прошлому, к этой работе наиболее серьезный интерес. И развитие консерватизма в современной России могло бы внести весомый вклад в решение этой важной задачи, в которую в значительной степени упирается проблема идентичности современной России.

Литература

1. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990.
2. Art D. The Politics of the Nazi Past in Germany and Austria. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Аннотация. В докладе рассматриваются проблемы становления «политики памяти» и формирования «инфраструктуры» актуализированного прошлого в постсоветской России. По мысли автора, для властвующей элиты «актуализированное» прошлое выступает и как ресурс, применение которого сопряжено с определенными выгодами и рисками, и как объект символических инвестиций. По итогам анализа эволюции подходов властвующих элит постсоветской России к работе с прошлым сделан вывод о том, что спустя более чем 20 лет после распада СССР репертуар символов, событий, фигур прошлого, пригодных для мобилизации национальной солидарности, а государственным решениям, направленным на коммеморацию событий российской истории, недостает стратегической последовательности. Консерваторы наряду с другими политическими силами могли бы более осмысленно подойти к решению задачи формирования репертуара политически пригодного прошлого, который может рассматриваться как фундаментальное общее благо.

Ключевые слова: политическое использование прошлого, коллективная память, символическая политика, Б.Н. Ельцин, В.В. Путин.

Malinova Olga, Dr. of Philosophy, the chief research fellow of the Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Sciences; professor of MGIMO-University; professor of the Higher School of Economics.

The Conservatives and Collective Memory: Cultivating a Repertoire of Politically Usable Past.

Abstract. The paper analyses a development of “infrastructure” of a usable past in post-Soviet Russia. It argues that the latter is both a resource and a matter of symbolic investments for the ruling elite. It concludes that after more than 20 years after the collapse of the USSR the repertoire of the usable past remains rather scarce, and “memory policy” is still far from being consistent. The paper supposes that more systematic development of the repertoire of the usable past could be a matter of efforts of the conservatives as well as the other political forces who must be interested in development of this resource that might be considered as fundamental common good.

Keywords: political uses of the past, collective memory, symbolic politics, B. Yeltsin, V. Putin.



М.М. Фёдорова. Думаю, поставлена очень важная проблема для консервативной идеологии – проблема прошлого. Достаточно распространено мнение, что консерватизм – это идеология, которая направлена на реставрацию и попытку вернуться в какое-то прошлое. Как показал доклад, в истории консерватизма, даже в классическом его варианте, ясно, что не всякое прошлое пригодно для консервации, не ко всякому прошлому мы хотим вернуться. Доклад Ольги Юрьевны как раз и показывает, высвечивает этот ракурс – какое прошлое нас прежде всего интересует.

А.В. Ставицкий. Политика памяти. В чем ее смысл? Каковы тенденции в раскрытии? Вы сказали о стратегии. Что должно быть положено в основу стратегии политики памяти?

О.Ю. Малинова. Речь идет о современной России или о политике памяти вообще?

А.В. Ставицкий. Я не хочу сужать, потому что для меня эта тематика чрезвычайно близка. Я занимаюсь современной мифологией, а историческая мифология, или мифоистория, занимает в ней центральное место. Мне это интересно не из-за желания поспорить, а в плане вашего видения – что вы можете предложить конструктивного?

М.М. Фёдорова. Еще есть вопросы?

Э.Г. Соловьев. В последнее время у нас в стране довольно активно ведется дискуссия по поводу того, что собой представляет политика идентичности в постсоветский период и есть ли она вообще. Как, на ваш взгляд, все-таки была ли она у нас в 1990-х годах и есть ли сейчас? Второй вопрос – по поводу 1990-х годов. Как, по-вашему, это была такая эксплуатация нарратива, доставшегося нам в наследство от советской эпохи, с революционными обертонами, или все-таки добросовестное заблуждение, которое было достаточно широко распространено вообще в 1990-х годах – и в экспертной среде, и в политической, и явилось таким непреднамеренным следствием общего развития политических событий в стране?

М.М. Фёдорова. У меня вопрос в развитие. В докладе было показано, что советское про-

шное лидирует в качестве того элемента, к которому происходит апелляция. Но для выстраивания этой символической политики прошлое может употребляться как со знаком плюс, так и со знаком минус. Те тридцать процентов, которые связаны с упоминанием войны, – понятно, в каком контексте они употребляются. А вот остальные сюжеты советского периода – они со знаком плюс или со знаком минус?

О.Ю. Малинова. Если позволите, буду двигаться с конца, то есть начну с вопроса Марии Михайловны. Львиная доля упоминаний советского прошлого – со знаком плюс. Либо еще один вариант, он достаточно распространен в политической риторике: когда вам надо обосновать необходимость каких-то реформ, каких-то изменений, то очень выгодно упомянуть о недочетах прошлого, которые вы собираетесь исправить настоящим. Но все-таки использование прошлого со знаком плюс, безусловно, доминирует. На мой взгляд, такая тяга к использованию того прошлого, которое можно маркировать позитивно, связана еще и с тем, что у нас до сих пор не сформировалась смысловая схема, по которой мы рассказываем отечественную историю. Она только формируется. Усилия стали предприниматься буквально в последние годы, если не месяцы. В отсутствие внятной смысловой схемы, когда у вас есть нечто расплывчатое – великая страна как тысячелетняя государственность, которая эволюционировала, – вам не остается ничего другого, как использовать прошлое по принципу *à la carte*, то есть выбирая то, что вам нравится. Здесь сложно работать с прошлым, которое маркировано негативно, потому что, условно говоря, для того чтобы работать с плохим прошлым, вам надо рассказывать историю о том, как, преодолевая эти неприятности в прошлом, вы приходите к светлому настоящему и еще более прекрасному будущему. Если у вас нет истории, то вы обрекаете себя на то, что вам, оказывается, удобно только то прошлое, которое вы можете маркировать позитивно. Вопрос Эдуарда Геннадьевича Соловьева, есть ли политика идентичности. Ответ на него в очень большой степени зависит от того, как вы используете слово «политика». Если под политикой вы понимаете некий целостный курс,

который властвующая элита реализует, то такого внятного курса до самого недавнего времени не было. Но это не значит, что не было политики идентичности, потому что, в моем понимании, политика идентичности является ядром того, что я называю символической политикой. Властвующая элита – очень важный игрок этой символической политики, а стало быть, и политики идентичности. В этом смысле не только то, что делается, но и то, что не делается, часто является значимыми вещами.

Хотела бы уточнить. Я сейчас в основном говорила о риторике, но, разумеется, под символической политикой я понимаю не только слова, но и дела. В этом смысле действия, в частности действия, направленные на изменение «инфраструктуры» памяти, это очень важная часть и символической политики, и политики идентичности.

По поводу 1990-х годов и разрыва с советским прошлым. Это линия на использование прошлого с помощью тропа прерывности, когда мы оформляем это рамкой: вот это было до, а теперь у нас новая жизнь, и всё по-другому. Это было связано с политической прагматикой, то есть надо было оправдывать реформы. И это был наиболее ясный ход того, как надо оправдывать. Да, это было добросовестное заблуждение, потому что, разумеется, люди, находившиеся во власти, опирались на ту систему представлений, которая существовала. Она была очень мощно трансформирована в годы перестройки. Дискуссия о белых пятнах истории сильно повлияла на то, как воспринималось советское прошлое. Так, оказалось целостно трансформировано понятие революции. Ведь в советском обществоведении и советской историографии слово «революция» было позитивно ценностно нагружено. Бытовало представление, что бывает реформистский путь развития и революционный. Реформистский – плохой, потому что он оставляет много пережитков и развитие идет медленно. А революционный путь – хороший, он расчищает путь. Дискуссии об Октябрьской революции и о ее последствиях оказали настолько весомое воздействие на восприятие феномена, что с самого начала 1990-х властвующая элита решительно отказывается от маркирования происходящих перемен как перемен революционных. Да,

были демократы, которые критиковали власть и говорили, что та недостаточно революционно действует, но они составляли меньшинство.

А подавляющее большинство политической элиты – буквально по всему спектру слева направо. Включая коммунистов, как ни странно, – у коммунистов произошла переоценка понятия «революция». Они тоже участвовали в дискурсе о том, что революция – это плохо и надо двигаться по эволюционному пути. Такой сильный переворот. Тектонические сдвиги в историческом сознании, произошедшие в годы «перестройки», очень сильно повлияли. Но за короткий срок трудно было создать новую смысловую схему – схема получалась перевернутая. Она строилась на советском нарративе. Поэтому то, что в самом начале 1990-х годов была именно такая политика, у меня не вызывает удивления. Это тот вариант, который был доступен и возможен. Вопросы вызывает другое: почему, позиционируя новую Россию как новую Россию, власть практически ничего не делала для того, чтобы создать инфраструктуру прославления, коммеморации событий новейшей истории.

Э.Г. Соловьев. День независимости.

М.В. Ремизов. День флага.

О.Ю. Малинова. Когда был учрежден День флага? В 1994 году. Они вообще август профукали, преступно профукали, потому что это как раз было то событие, которое можно было сделать мифом основания нового Российского государства. Там был определенный подъем. И в 1992 году, по горячим следам, надо было из этого что-то делать. А потом случился 1993 год, который просто территориально, с точки зрения топографии символической, наслоился, и уже больше ничего с этим делать было нельзя. Это урок того, что в символической политике некоторые решения надо принимать быстро. Если вы хотите создавать тропы новой России.

И последний вопрос, по поводу политики памяти. Я не так часто использую этот термин, предпочитаю работать с термином «символическая политика». Мне представляется очень трудным в качестве инструмента исследования

концепт коллективной памяти. Он соединяет в себе две вещи, которые надо исследовать разными исследовательскими инструментами. Во-первых, то, что в головах у людей (я имею в виду массовое сознание), то есть имеющаяся система представления. Во-вторых, то, каким образом антрепренеры, политическая элита, интеллектуальная элита своими символическими действиями влияют или воспроизводят этот ландшафт. Тут нужен другой инструментарий. Вы никогда не можете сказать, что дискурс изменился, и поэтому изменились массовые представления, потому что у каждого человека собственная интеллектуальная история, она происходит разными путями. Поэтому, на мой взгляд, эти вещи методологически лучше разделять. И очень хорошо, что социологи исследуют массовое сознание, а политологам можно сосредоточиться на том, чтобы исследовать, в частности, действия политических акторов, направленные на трансформацию, утверждение или продвижение представлений. Мне кажется, удобно называть это символической политикой. То есть это такое понятие-рамка, которое просто побуждает нас увидеть часть одного поля, действия, явления, которые мы описываем с помощью массы разных терминов, то есть дескриптивное понятие.

А.В. Ставицкий. Я понимаю ваши доводы, но, на мой взгляд, символическая политика включает целый комплекс вещей, которые могут не пересекаться с политикой памяти. Например, скажем, как одет тот или иной политик, как риторика выстраивается. То есть существуют некие прикладные вещи, чисто политтехнологические. А политика памяти – это поле истории. Оно может быть включено в символическую политику, может выходить из нее. И с этой точки зрения, мне кажется, уместны оба термина.

М.В. Ремизов. Здесь методологически еще такая проблемка, что символ – это не единственный оператор смыслов политики памяти, правильно?

О.Ю. Малинова. Безусловно.

М.В. Ремизов. То есть не любой исторический нарратив структурирован по символам, в том числе популярные нарративы – не обязательно

вокруг символов. Символ – это один из типов, знаков.

О.Ю. Малинова. Я использую набор из понятий: нарратив, символ, фрейм, или троп в данном случае (имеется в виду смысловая рамка, которая побуждает нас видеть ситуацию определенным образом), дискурс.

М.В. Ремизов. Символом является не любой знак.

О.Ю. Малинова. Не любой знак. Но, с другой стороны, это такие вещи, которые выступают как трансформеры. Например, Октябрьская революция – это и событие, которое может быть описано в рамках различных нарративов. Но это и символ. И в политической риторике очень часто это используется именно как такой свернутый знак, за которым стоит определенная комбинация смыслов.

М.М. Фёдорова. Уважаемые коллеги, вижу, что мы уже перешли к развернутой дискуссии, поэтому, если у кого-то есть какие-то соображения и ремарки, пожалуйста, попрошу высказывать. Пожалуйста.

А.Ю. Зудин. Думаю, все согласятся, что выступление было очень интересным. Хочу остановиться на тех моментах, которые, с моей точки зрения, являются проблемными.

Мне представляется, что в ряде случаев автор видит проблемы там, где их нет. В частности, многое станет понятным, если мы вспомним, что речь идет о публичных выступлениях политического лидера. Любой публичный политик не будет специально создавать себе проблемы, он всегда будет использовать то, что для него политически выигрышно и по возможности избегать всего, что может дать противоположный эффект.

Внимание советскому периоду тоже, как мне кажется, не удивительно, просто потому, что в политической жизни, по крайней мере в качестве избирателей, принимают участие очень много людей, которые были включены в советский период. Присутствие темы Великой Отечественной войны имеет аналогичное объяснение. К концу советского периода у нас остались только два консенсусных символа – это

космос и Великая Отечественная война, Победа. При остром дефиците интегрирующих символов постоянная апелляция к победе в Великой Отечественной войне объяснима и понятна. Не вижу особой проблемы и в том, почему публичным политиком (в данном случае – Путиным) делаются отсылки к тысячелетней России, но о самой тысячелетней России говорится очень мало. Зачем публичный политик будет часто и подробно говорить о том, что для большинства людей не является актуальным? Он может упомянуть об этом несколько раз, и этого вполне достаточно. Все слова политического лидера – это действия, и все действия подчинены решению политических задач. Такое поведение для политического лидера типично, оно рационально, и ничего другого от него ждать не надо, то есть это будет просто неправильно.

Докладчик задается вопросом: вот «новая Россия», почему власти не закрепили ее символически? И этот вопрос тоже, на мой взгляд, носит риторический характер. Докладчик также утверждает, что в этой области надо было действовать быстро, «по горячим следам». Исторический опыт подсказывает, что предложенный рецепт верен с точностью до наоборот. Действовать «по горячим следам» в вопросах, связанных с политикой памяти, противопоказано, хотя бы потому, что нельзя быть в точности уверенным, какой смысл приобретет то или иное событие. А событие приобретает смысл не только благодаря усилиям политических акторов, даже если это власть. Но это не все. Давайте вспомним, каким образом возникла «новая Россия», вспомним о «навязанном переходе» к новой экономической и политической системе. Этот переход не был консенсусным, он был навязан активным меньшинством «растерянному большинству». Если в таких условиях начать навязывать и символы новой России, то получишь такой *backlash*, что мало не покажется. Отчасти поэтому официальная политика памяти была достаточно скромной и осторожной. Кроме того, и элита была не едина. Эти соображения просто снимают вопрос о том, почему не велось почти никаких...

О.Ю. Малинова. Они не снимают вопрос, они дают объяснение.

А.Ю. Зудин. Они дают объяснения, которые уже достаточно широко представлены в научной литературе. Вернусь к вопросу о роли элиты. Вообще-то до конца 1993 года у нас было целых две власти. Помимо того, что элита была не едина в своем отношении к «навязанному переходу», так и властвующая элита тоже была расколота. Серьезные идеологические расхождения сохранились и после упразднения «двоевластия». Расколота элита не в состоянии проводить активную политику памяти. Поэтому здесь нет проблемы, как мне кажется. Следующее возражение связано с тем, что в докладе неявным образом происходит отождествление содержания публичных выступлений и госполитики как таковой. Получается, что если о чем-то публично не говорится, значит, ничего по данному вопросу и не делается. Но это же не так. Далеко не все решения получают публичное обоснование и становятся предметом публичных выступлений. Мне кажется, с самого начала следует четко оговорить, что берется только один показатель содержания политики памяти, а именно – публичные выступления. И дальше сказать о том, какова реальная ценность и реальная значимость результатов, которые были получены при помощи анализа. В противном случае, и сам подход, и полученные результаты становятся уязвимыми. Спасибо.

М.В. Ремизов. Алексей [А.Ю. Зудин – *Ред.*] уже отметил те две вещи, на которые я хотел сначала обратить внимание, то есть то, что выступления официальных лиц не являются единственной и главной линейкой, политической памяти. И второе, по поводу августа как краеугольного камня: жидковат камень, чтобы на нем строить государство. И здесь политический инстинкт сработал – они поняли, что это могло бы иметь обратный эффект. Но я хочу остановиться на тех двух проблемах, которые вы поставили. Одна – это символическая недостаточность исторического нарратива тысячелетней России. Он недостаточно насыщен символьным рядом, я бы сказал, недонаселен, потому что у нас еще со сталинского времени осталась линейка героев, которая определяет восприятие схемы отечественной истории: Иван Грозный, Петр I, Александр Невский,

Суворов, Кутузов и сам Сталин. Географический образ России точно так же бедноват – есть столица и еще пара городов. Очень много забытого и вытесненного. Это первая проблема, она очень важная и абсолютно решаемая. То есть одной из хороших возможностей активации политики памяти является воспоминание о забытой России, о том, что забыто, о том, что недооценено. Нужен некий новый стандарт из ста имен, которые должен знать каждый школьник, из которых сейчас он знает максимум десять. Вот и будет более объемный образ страны. У нас нет ни одного памятника Ивану III, основателю Русского государства, в его более или менее уже европейском виде, протосовременном. Например, у нас школьники ничего не знают, и не только школьники, о битве при Молодях, которая сопоставима по значению с Куликовской битвой. В разных эпохах есть много такого забытого. Это очень хороший ресурс исторической памяти.

Касаемо нарратива. С ним сложнее, ибо история – это не коллаж картинок, а сложный сюжет, в котором разные линии сходятся и расходятся. Очень важно давать сквозные сюжеты, которые прошивают отечественную историю. Могу назвать несколько примеров. Общий методологический посыл – преодолеть комплекс неполноценности. Нужно подавать историю России как историю успеха. Если посмотреть на стартовые условия – где-то на периферии европейского пространства, вообще ойкумены, славянские племена в очень сложном окружении. Очень мало было предпосылок к тому, что эти племена создадут мирового уровня культуру, крупную государственность, создадут геополитического игрока, который войдет в высшую лигу. Это, несомненно, история успеха, стратегически – если посмотреть именно на длинные дистанции.

Вы поставили еще одну проблему – разорванность отечественной истории, конфликт эпох. Но есть и проблема расслоенности не по времени, а по этническим сегментам, потому что народы, населяющие Россию, имеют разные и конфликтующие исторические мифологии. Это большая проблема. На мой взгляд, пытаться писать историю России как некий общий знаменатель, как сумму всех конфликтующих

исторических мифологий абсолютно бесперспективно. Мы не получим ничего, кроме шизофрении. Понятно, что исторический нарратив русских и крымских татар – абсолютно разный, даже казанских татар и русских – разный. Все это упаковать в рамках единого исторического мифа, единой политики памяти, просто поставив рядышком, – невозможно. Поэтому нужно, на мой взгляд, довольно откровенно описать русскоцентричную историю России, делая акцент на инклюзивности. То есть история России должна быть русскоцентричной, потому что это единственный способ собрать разрозненные эпохи и разные государственные проекты в какую-то связь времен. Делая акцент на инклюзивности. Во-первых, на широком понятии русского – через культуру и язык, во-вторых, на союзничестве – на том, что русский проект предлагал народам, которые входили в российское пространство, определенные союзнические модели отношений. Эта логика не устраним конфликт историографии, его нельзя устранить в принципе – все равно татары будут думать о своей царице Сююмбике, которая якобы бросилась с большой башни, когда Иван Грозный принуждал ее выйти замуж. Или мечеть Кул-Шариф, недавно построенная в казанском Кремле, названа в честь одного из лидеров сопротивления, который сражался до последнего против оккупантов-завоевателей. Понятно, что с таким историческим нарративом все равно ничего сделать нельзя. Но это не повод отказываться от своего исторического нарратива. Не надо нивелировать другие исторические нарративы. Но если мы при этом откажемся от своего, то окажемся не способны интегрировать большое пространство. Поэтому лучшее, что мы можем сделать, это последовательно сформировать свой исторический нарратив, с Куликовской битвой, где сражались с казанскими татарами, и с битвой при Молодях, где сражались с татарами крымскими. Делая при этом акцент на цивилизаторскую роль России, на инклюзивность (то есть понимая русскость в широком смысле), на отношения союзничества, которые в итоге худо-бедно складывались даже с теми народами, с которыми велись жестокие войны. Даже в таких случаях были возможны формы союзничества. Итак, второе – это ста-

новление большого русского народа как сквозной исторической нарратив, прошивающий разные эпохи и государственные проекты. Третий сквозной нарратив – колонизация, история колонизации и цивилизаторской миссии в Евразии. Колонизация – это основной нарратив нашей истории. История должна перекидывать мостик в будущее. История – это сюжет, взывающий к продолжению. Сюжет, который хочется продолжить. Вот в чем смысл популярной историографии. Если мы рассматриваем историю России с акцентом на эту цивилизаторскую миссию, на колонизацию большого пространства, то это и есть мостик в будущее. Наше задание на будущее – колонизация русского Востока, полноценное структурное освоение Восточной Сибири и тихоокеанской России.

Следующий момент – акцент на европейской идентичности, на том, что русские создали самобытную версию европейской культуры, которую уже распространили до Тихого океана. Это смыкается с колонизаторским и цивилизаторским сюжетом.

Наконец, последнее, о чем я хотел сказать. В русской истории есть идефикс – тема суверенитета и независимости. Не так много народов, которые так длительно сохраняли свой геополитический суверенитет, имеют столь длительный опыт суверенной государственности. Эта идея имеет не только властный, имперский, репрессивный потенциал – она имеет и освободительный потенциал. В каком отношении? Российский суверенитет всегда воспринимался как суверенитет по отношению к лидерам миросистемы, к тем, кто сильнее: к Британской империи, к совокупному Западу, к Соединенным Штатам. И вот эта возможность формировать суверенитет, обеспечивать ресурс, резерв независимости по отношению к консолидированной миросистеме – это и есть освободительная практика, освободительная миссия, это обеспечение ситуации, при которой глобальный лидер не может позволить себе всё, что угодно. Этот освободительный нарратив нужно подчеркивать.

М.М. Фёдорова. У меня несколько слов в продолжение того, о чем говорил Михаил Витальевич. Тема нашей секции – «Вызовы, стоящие перед консерватизмом». Одно из фундаменталь-

ных понятий, принадлежащих к консервативной риторике, это понятие патриотизма.

Я как-то размышляла на эту тему, и выводы доклада Ольги Юрьевны [Малиновой. – *Ред.*] подтвердили мои не очень радужные размышления на эту тему. Наши патриотические настроения и патриотический дискурс нашей власти формируется на двух идеях, о которых говорил и Алексей Зудин: это наши военные победы плюс (в общей риторике процентов десять) проблема космоса и нашей передовой роли. То есть наше чувство патриотизма зиждется в основном на осмыслении и переосмыслении нашего военного прошлого. Здесь мы идем – и в идеологическом плане, и в плане властных ресурсов – по пути наименьшего сопротивления, потому что проще всего построить патриотические чувства и модель идентичности на отрицательном – как мы преодолеваем врага. Те великие имена, которые называл сейчас Михаил Витальевич, это полководцы – Суворов, Александр Невский, Кутузов, – которые защищали нас от врага и вели к победам. Нет никаких позитивных элементов. Ольга Юрьевна говорила о теме советского прошлого – там не только война, но и то, что в кратчайшие сроки удалось построить одно из самых сильных индустриальных государств. Этой темы практически нет. Очень мало звучит тема мировой культуры. Если попросить назвать, я уж не говорю сто имен деятелей русской культуры, – просто выйти за пределы школьной программы по литературе, ничего не получится. Цивилизующая сторона российской истории остается практически вне поля формирования нашей идентичности, нашей символической памяти и, соответственно, символической политики. Мне кажется, это очень важный момент применительно к вопросу о традиции и ценностях.

А.В. Ставицкий. Мне очень понравилась фраза: автор видит проблемы там, где их нет. Но маленькая поправка: автор видит проблемы там, где другие их не видят. Может быть, вы правы, может быть, не очень, может быть, вы упрощаете. В любом случае, тема для исследования есть. Еще прозвучало замечательное выражение – «плохое прошлое». Плохим или хорошим в значительной степени мы делаем прошлое сами. Возьмем Французскую революцию. Мы будем говорить о Декларации прав человека и

гражданина или о гильотине? В зависимости от того, какие акценты мы сделаем, она становится плохой, либо хорошей. То же самое – сталинская тематика. Это трудная и спорная история. В той или иной степени она, может быть, будет устанавливаться, но, так или иначе, все равно некие акценты будут смещаться – они будут зависеть от эпохи. Тема революции. Коммунисты, может быть, дистанцируются, но гламуризация термина «революция» идет полным ходом, в разных областях. При этом если воспринимать революцию как качественный скачок – разве в ней нет потребности? Сейчас мы входим в трансформационный кризис, который, так или иначе, ведет к неким революционным изменениям. Как они будут проходить – другой вопрос, но отказаться от слова вряд ли получится.

Маленькая поправка к Михаилу Витальевичу [Ремизову. – *Ред.*]. Мне очень понравилась фраза «история успеха», но ведь успех – он конечный. У вас звучит тема продолжения. Да, необходимо продолжение. Мне кажется, что здесь скорее нужно говорить об истории преодоления. Успех же – это когда можно почивать на лаврах. А этого успеха нет. Только вы что-то сделали – следующая проблема возникла, за ней следующая. А преодоление может быть бесконечным.

М.В. Ремизов. Успешная история преодоления.

А.В. Ставицкий. Может быть.

А.Ю. Сунгуров. Великая Отечественная война – это однозначно положительный символ. Но при этом надо понимать, что здесь теряется одна из связей с дореволюционной Россией, очень важная, потому что русская эмиграция была разная. Была и та эмиграция, которая считала, что участвовать в войне надо для восстановления старой России. Зачастую безапелляционно утверждается, что все они предатели. И получается, что и Краснов, который никогда не был советским и советскую власть не предавал, был повешен как предатель.

М.В. Ремизов. Политика памяти в отношении Гражданской войны заслуживает отдельного обсуждения.

А.Ю. Зудин. Нам, как мне кажется, нужно более внимательно относиться к культурной динамике

советского общества. В том, что касается памяти о Гражданской войне, точнее – ее публичной презентации, в позднесоветском периоде имело место заметное дистанцирование от черно-белых схем, которые сейчас почему-то отождествляются со всем советским подходом. Произошло приближение к более «спокойному», более сбалансированному восприятию Гражданской войны. Появилась мысль, что белые – это русские люди, у них была своя правда, и они за эту правду сражались, они достойны уважения. Это была реальная трансформация исторической памяти, ее следы можно уловить в популярной художественной литературе, кинофильмах и некоторых позднесоветских сериалах на эту тему. Никакой специальной советской госполитики по этому вопросу обнаружить не удастся. Это была тихая культурная революция, которую делали писатели, режиссеры, актеры, а зрителям и читателям это нравилось. Вот этот фактор активной части общества как еще одного механизма создания коллективной исторической памяти тоже нужно учитывать. Еще раз хочу сказать, что в плане культурной динамики у нас совсем не так плохо, как иногда кажется. И изменение реального отношения в обществе к Гражданской войне в конце советского периода – тому пример.

О.Ю. Малинова. Спасибо большое за дискуссию. Позволю себе коротко отреагировать на некоторые ремарки. Алексей Юрьевич, я, конечно, не согласна с постановкой вопроса таким образом, что здесь нет проблемы. Там, где нам кажется, что у нас есть интуитивное объяснение... По сути дела, что вы сделали? Вы показали, что у вас есть интуитивное объяснение тех проблем, которые я сформулировала как проблемы. Но если мы выступаем как исследователи, то иногда полезно усомниться в том, что мы можем на интуитивном уровне объяснить и придумать методiku, которая позволит нам эмпирически на эти вещи посмотреть. Хочу скорректировать, может быть, сложившееся впечатление об исследовании – что будто бы я исследую только риторику. Даже в тридцатиминутном выступлении я не могла пересказать всего исследования. Риторiku я исследую именно потому, что, взяв определенный массив текстов, на этом массиве могу показать тренды, чтобы не быть голословной, утверждая, что репертуар скудный.

Я согласна с тем, что выступления публично-го политика имеют свою специфику, но ведь именно с этой спецификой я и работаю. Ведь наши публичные политики – это не единственные публичные политики, которые выступают. Все публичные политики используют прошлое. И сравнивая то, как это делается, мы можем увидеть некоторые особенности конкретной политики памяти, как она проявляется в риторике. Безусловно, политика памяти к риторике не сводится, но риторика – это очень важная часть политики памяти. Публичные политики регулярно выступают в мемориальном жанре. Тематика этих выступлений – это показатель и, на мой взгляд, здесь сомнений быть не может. Согласна с тем, что любые действия в области публичной политики влекут за собой риски, и в этом смысле институционализировать что-то по горячим следам опасно. Но, с другой стороны, именно так это и делается. Если вы возьмете, например, такой случай, как Октябрьская революция, большевики не побоялись буквально с первой годовщины начать ее коммеморацию. А то, что риски есть, – да, они есть. Пример с учреждением Дня народного единства – это как раз пример того, какие риски могут быть при проведении символической политики.

Мне были очень интересны идеи Михаила Витальевича [Ремизова. – *Ред.*]. Со всем, что было сказано, я согласна. Сделаю лишь одну ремарку. Российская история писалась преимущественно как история государства Российского. Но, если мы вспомним историографию, то была, хотя бы по заглавию, попытка написать историю русского народа. Мне кажется, что и политики могут работать с этим прошлым в руслах двух нарративов. Мы очень много концентрируемся на истории государства. Очень важно писать историю не только государства, но и народа, потому что тогда у нас возникают важные символические ресурсы. Мне кажется, очень важно было бы рассказывать историю русского народа и Российского государства как историю движения к свободе. Не буду произносить слово «демократия» по причине того, что оно у нас по-разному маркировано, хотя к демократии тоже – история поиска способа политической организации сообщества, который воспринимался бы как справедливый.

М.В. Ремизов. Форма реализации народного суверенитета.

О.Ю. Малинова. Да. Мне кажется, что это тоже была бы очень важная линия. Как раз ее было бы удобно рассказывать не в русле истории государства, а в русле истории народа. Хочу прокомментировать наблюдения Марии Михайловны [Фёдоровой. – *Ред.*]. Действительно, у нас в патриотическом дискурсе наиболее часто используется именно тема Победы, что досадно. Конечно, тему истории культуры надо было бы использовать. Но это уже сложившаяся традиция. Есть такое исследование американца Джеймса Верча, который анализировал нарративы на примере множества разнообразных учебников истории 1990-х годов. Он увидел, что в русской историографии превалирует нарративная схема победы над врагом. В логике этой нарративной схемы рассказываются самые разные истории, не только про победу над внешними врагами – даже эпизоды, связанные с трансформацией государства, мы рассказываем в логике нарратива победы над врагом. То есть это очень устойчивый культурный фрейм. Его перебороть будет сложно.

В символической политике всегда проще плыть по течению, то есть использовать те ресурсы, которые есть. Но мне кажется, что дальновидно поступает та элита, которая пытается работать на опережение, мыслить стратегически и закладывать возможности для изменения этих культурных фреймов, для их дополнения и трансформации. Работа над трансформацией – это то, что требуется в постсоветском контексте, потому что без этой трансформации мы не можем обойтись.

Э.Г. Соловьев. Хотел бы решительно протестовать по поводу ряда идей, озвученных в завершение нашей дискуссии, особенно по поводу переноса акцента в истории государства на историю народа. Мне эта затея представляется контрпродуктивной потому, что сам формат истории государства тоже не на пустом месте возник. История государства – это то, что объединяет большое количество народов со своими нарративами. И нарративы, и история народов... может широкая мозаика присутствовать. Поэто-

му, если мы пытаемся подвинуть государство и изменить историю русского народа... Непонятно, впрочем, почему именно русского... То есть понятно – это государствообразующий народ, это опять такие идеологические накрутки, это нас может очень далеко завести. В этом смысле я бы настаивал, что от добра добра искать не надо и история государства – это то самое, от чего не стоит отказываться.

М.В. Ремизов. Эдуард Геннадьевич, есть такое понятие – право на идентичность. Русские же имеют право на идентичность?

Э.Г. Соловьев. Имеют. Я же его не отрицаю.

М.В. Ремизов. Но если у них есть право на идентичность, то у них есть право и на свою популярную историографию?

Э.Г. Соловьев. Вероятно, да.

М.В. Ремизов. Почему бы нам не реализовать это право?

Э.Г. Соловьев. Ну, надо думать о последствиях, реализовывая это право.

М.В. Ремизов. А почему вы считаете, что последствия будут плохие? Тем более что история государства Российского, как она написана, от истоков, она русскоцентрична. От этого стержня нельзя отказываться. От русского стержня государственного нарратива нельзя отказываться. Но никто нам не может запретить формировать собственную этнонациональную политику памяти.

Э.Г. Соловьев. Запретить, понятно, никто не может – мы в свободной стране живем, но...

М.В. Ремизов. Она только усилит гравитацию. Если ядро сильное, если ядро имеет сильную идентичность, то усиливается гравитация.

Э.Г. Соловьев. Я бы поспорил. Это может подтолкнуть центробежные тенденции.

М.В. Ремизов. У татар уже есть своя отдельная историография, популярная историография, у чеченцев – тоже всё есть, и достаточно сильное. Мы можем это скомпенсировать, имея свое, и тогда будет достаточная физика притяжения.